

Нина Витошек

Культура: парк Юрского периода или ключ к будущему?

Все мы помним сюжет одного из нашумевших фильмов прошлого десятилетия: на маленьком тропическом острове, недалеко от берега Коста-Рики, вымышленный ученый, доктор Джон Хаммонд (сыгранный сэром Ричардом Аттенборо), создал самый усовершенствованный луна-парк в мире. С помощью изощренной технологии ученые извлекли ДНК динозавра из москита, попавшего в янтарь. Результат - юрский Парк, где угасшее и утраченное навсегда возвращено к жизни в богоборческом вызове природе и Богу. По замечанию одного из помощников Хаммонда:

Бог создает динозавра.

Бог разрушает динозавра.

Бог создает человека.

Человек разрушает Бога.

Человек создает динозавра.

В ироничном финале фильма клонированные животные, несколько напоминающие разбушевавшиеся балканские полувоенные бандформирования, разрушают музей, в котором хранятся останки их предков. При поверхностном взгляде кажется, что «Парк юрского периода» – фильм о гордости наукой и прометеевом эксперименте над природой. Я же полагаю, что фильм является, скорее, притчей о пути культурного развития, как ранний фильм Спилберга, «Челюсти», был притчей о Вьетконге, осаждаемом никсоновской Америкой.

Культура во многих отношениях есть последовательность юрских парков - никогда не заканчивающаяся эксгумация и возрождение прошлого, казавшегося мертвым и похороненным. В особенности в двадцатом столетии – экстремальном времени, по выражению Хобсбаума¹, - которое неожиданными путями приводит к нашему дому прошлое, и то, что казалось умершим, разрастается до гипнотизирующих и ужасающих размеров.

¹ Eric Hobsbawm, английский историк и социолог (*прим. ред.*).

Те, кто думал, что дикие и внеморальные боги старого Севера давно благополучно редуцировались до фольклора и детских страшилок, не предвидели навязчивых тевтонских идей немецкого национал-социализма. Реформаторы Югославии, полагавшие, что сербский принц Лазарь, погребенный 600 лет назад, покоится в гробу, не рассчитывали на опрометчивую риторику и мифологическую хитрость Слободана Милошевича. Не далее, как в 1989-м кости героя - жертвы древнего сражения за Косово - были выкопаны и пронесены в ритуальной процессии по всей Сербии для возбуждения национальных чувств.

Это только два примера возрождения чудовищ ушедшего 20-го столетия. Можно привести и менее кровавые и опасные случаи прошлого, ожившего в настоящем. Возьмите постмодернизм. Те, кто думает, что постмодернистский поворот характеризует беспрецедентное развитие современной мысли, должны вспомнить ранних софистов, которые уже в 5-ом веке до н.э. подрывали понятие правды, ставили под сомнение великие истории, нападали на привилегированные классы и настаивали на том, что действительность сконструирована социумом, а не создана богами. В манере, больше напоминающей наших современных суперзвезд, софисты умели неплохо зарабатывать на радикальной критике общества. (Сегодня вы можете заработать 20.000 \$ за лекцию в американских академических кругах, если проявите достаточный антиамериканизм).

Вернемся к нашей притче: в живом музее доктора Хаммонда есть два вида динозавров. Один - очарование, Бронтозавр - вегетарианец, - медленно и грациозно перемещающийся среди высоких деревьев, вызывающий слезы эстетического экстаза у наблюдателя. Его длинная шея - смесь жирафа и лебедя - придает ему покоряющую нежность телепузиков.

Другая разновидность - Король Тиранозавр и Велокираптор - кровожадные убийцы, которые едят без соли все, что живет и движется. Потому один из главных героев говорит: „Т-король не хочет питаться. Он хочет охотиться. Нельзя подавить шестидесятипятимиллионный нутряной инстинкт“.

Так же и с любым другим возрождением прошлого в истории нашей культуры, которое с большой вероятностью вынесет на поверхность как величественного, уравновешенного, привлекательного Бронтозавра, так и диких хищников, хватающих и разрывающих на части тех, кто вернул их к жизни.

Чтобы не быть в этом месте неправильно понятой, я хотела бы уточнить одну вещь: я нисколько не защищаю утверждение, что история себя повторяет. Скорее, это бесконечно повторяющиеся себя истории, истории, которые пытаются ответить на экзистенциальные вопросы, оставшиеся в значительной степени тем же самыми

от Сократа до Арне Нэсса²: как мы встречаем смерть, как мы любим, какова ответственность человека перед лицом природы, как мы становимся свободными.

Ответы на эти вопросы меняются, конечно, в зависимости от времени и места. Но дилеммы возникают постоянно, и, следовательно, прошлое посещает нас часто. По наблюдению Юрия Лотмана, есть огромное различие между культурной сферой и технологическим развитием – а именно, что устаревшее научное изобретение или теория, замененные новой идеей, становятся абсолютно избыточными. (Мы не можем возвратиться на пустую землю.) В культурной истории нет ничего избыточного. Месопотамская фреска или индусская эпическая поэма сегодня приводят нас в такой же трепет, как и 3000 лет назад.

Имея все это в виду, мне хотелось бы задать два вопроса. Во-первых: имеет ли вообще значение культура как бесконечный цикл возрождения, воспроизведения и возобновления в мире линейного прогресса технологий и экономики? И во-вторых: действительно ли возможно, возвращаясь к прошлому, возродить только то, что для нас плодотворно и позитивно? Или мы осуждены также пробуждать заключенных в нем монстров? Является ли чудовищный Велокираптор частью пакета культуры, рассматриваемой как возврат к старым мифам и историям?

2

Начнем с начала: в течение долгого времени, вплоть до 1990-х годов, западные академические круги проявляли серьезный интерес к исследованиям в области культуры. Большинство из нас было последователями Декарта в восприятии культуры как систематической, индуцированной обществом ошибки. Культуре нельзя дать количественную оценку, включить ее в анализ эффективности и стоимости. Все попытки систематизации культуры проваливались. Культура была только запасным колесом в мощной машине экономики и политики. Блестящий пример такого декартовского отношения рассматривал Том Боман Ларсон³, размышляя о норвежской культурной идентичности и об одном из ее главных символов Роальде Амундсене:

«Ровно 89 лет назад Роальд Амундсен установил палатку в великом Ничто. Он знал, что на следующий день, 14 декабря он достигнет Южного полюса. Первым или последним. Он видел английский флаг - или он ничего не видел. На следующий день он убедился, что не видел ничего. Это был самый большой триумф Норвегии. 17 лет спустя норвежцы праздновали этот великий момент национальной пустоты

² Arne Dekke Eide Næss – один из значительнейших норвежских философов (*прим. ред*).

³ Tor Bomann-Larsen - член Норвежской академии (*прим. ред*).

двухминутным молчанием. В деревне и в городе. Что представлялось их внутреннему взору? Что они видели - ничто? Нет, они видели собственный триумф, они видели поражение конкурента. Они видели внутренним зрением то, что капитан Скотт увидел в свой бинокль, когда он наконец достиг Южного полюса, опоздав на четыре недели. Они видели норвежский флаг - над палаткой, у основания земли. Они видели славу Норвегии“.

Эти замечания очень остроумно схватывают происхождение культуры, как она рассматривается современными деконструктивистами. Для них за покровом мифов, историй и образов, передающихся и перерабатывающихся поколениями, находится пустота, абстракция. Истории произвольны, изобретены или вымышлены культурной элитой и освящены введенным ими в заблуждение потомством.

Есть другой, более плодотворный способ рассмотрения вопроса. Можно утверждать, что только эти истории в конечном счете и формируют наше восприятие, стили поведения и способы реагирования на кризисы. Можно думать о них, как о ДНК культуры, хотя, разумеется, они воздействуют более творчески и более независимо, чем любой биологический материал.

С уверенностью можно сказать одно: они имеют огромную, подчас недооцененную власть. Это они внушили хорватам и сербам, что нужно потрошить друг друга и сводить счеты с прошлым, совершая взаимные бесчинства. Это они внушили армянам, пострадавшим от страшного землетрясения 1988-го, не принимать донорскую кровь от их древнего врага, Азербайджана, чтобы кровь азербайджанцев не растворила бы и не загрязнила армянской крови. Или, чтобы мы не подумали, что харизме этих рассказов подвержены только так называемые „слаборазвитые нации“, это именно они внушают норвежцам, что их страна – самая лучшая и самая преуспевающая в Европе, несмотря на 8 месяцев зимы, проблемы с приземлением в аэропорту Гардемоен, странную футбольную команду, астрономические цены на дома, аварии на железной дороге, очереди в больницах, и т.д., и т.д., и т.д. Вспоминается также недавний пример из Швейцарии. Там в Лозанне была подготовлена выставка, одна из многих современных выставок, разоблачающих национальные стереотипы и мифы, в данном случае - фигуру Вильгельма Теля, которую вынуждены были закрыть из-за публичных оскорблений и многочисленных смертельных угроз, полученных организаторами.

Конец холодной войны и неожиданный взрыв национализма и фундаментализма привлекли внимание к малоисследованной и недооцененной теме важности обычаев и традиций. Внезапно на академическом уровне поняли, что за предыдущие пятьдесят лет целые институты Востока и Запада провалили попытку понять подлинную динамику социального развития.

В результате сегодня исследование культуры расценивается не только как *prima inter pares*⁴, но, в результате качнувшегося до предела маятника, становится своего рода фетишем. Для Сэмюэля Хантингтона, автора *Столкновения Цивилизаций*, самые существенные различия среди народов в период после холодной войны не идеологические, экономические или политические, а различия культурные. Фрэнсис Фукуяма публикует книгу за книгой, последняя из которых – «*Великий разрыв. Человеческая природа и воссоздание социального порядка*», где он критикует социологию за то, что та не в состоянии включить в рассмотрение такие концепты культуры, как достоинство, доверие и этику. Питер Бергер⁵ публично отказался от справедливости своей секуляризационной теории, созданной в 1960-х, провозгласив, что „современный мир так же неистово религиозен, как всегда“, и что „...изучать следовало бы заблуждающихся профессоров, а не религиозных фундаменталистов“.

Мы все больше и больше понимаем, что культура - сила в основном консервативная; человеческие привычки, менталитеты и обычаи не могут быстро измениться на противоположные. Старая шутка о цивилизованных каннибалах, которые по пятницам едят только рыбаков, отражает значение традиции. Введение демократических форм в бывших олигархических обществах не устраняет автоматически социальные и расовые предубеждения или же злоупотребления против прав человека. Анализ Южной Америки, проведенный Клаудио Велизом⁶, уместен во многих контекстах, от Бразилии до России: «У нас демократические правительства», - пишет Велиз, - „но наши учреждения, наши рефлексy и наши *менталитеты* очень далеки от того, чтобы быть демократическими. Они остаются популистскими и олигархическими, или абсолютистскими, коллективистскими и догматическими, испорченными социальными и расовыми предубеждениями“.

Приведенные выше небольшие примеры показывают, что любой, кто надеется понять суть раздираемой кризисом страны, уже не говоря о попытках установить там мир, должен начать с признания власти истории и мифа в этой стране. Перед попыткой разобраться в ситуации с Сербией и Косово прочтите *Песнь Крушения сербского королевства*. Перед инвестициями в Крым прочтите Зиновьева. Перед попыткой понять норвежский экономический авантюризм прочтите Пэра Гюнта, особенно эпизод с троллями.

Из этого можно заключить, что вопреки представлению о том, что культурные и политические проблемы являются двумя отдельными сферами действительности,

⁴ *Prima inter pares* (лат.) – первый из равных (прим. ред.)

⁵ Peter Berger – американский исследователь в области социологии религии и социологии науки (прим. ред.).

⁶ Claudio Veliz – американский историк (прим. ред.).

вся политика - это политика культуры. Даже эффективность политики безопасности зависит от точности соответствующего культурного анализа.

Это создает новые трудности.

Беспрестанное вторжение культуры в царство политики сильно отразилось на языке декларации прав человека, который все более и более заменяет старомодный „реализм“ в международных отношениях. Эта морализация политики исторически беспрецедентна и порождает разного рода дилеммы.

Насколько глубоко Запад может вмешиваться во внутренние дела других стран или требовать, чтобы Саддам Хуссейн или Милошевич отвечали за преступные действия своих государств? Как Запад должен вести свои постгероические войны, чтоб солдаты вмешавшейся армии не несли потери? В попытке представить публике такую войну как гуманитарное вмешательство происходит смешение понятий. Желание вести гуманитарную войну походит на желание иметь вегетарианского льва, сострадательно и игриво относящегося к своим жертвам.

Недавно были продемонстрированы две характерные реакции на путаницу, созданную мезальянсом политики и этики. Одна - со стороны врага предрассудков словенского интеллектуала Славоя Жижека, который считает, что вмешательство Запада на Балканах было фальшивым и лицемерным. Жижек утверждает, что мы нуждаемся не в освобождении от аполитичного гуманизма, а в полномочном военно-политическом нападении. Другой подход – это подход Умберто Эко, полагающего, что, при всем лицемерии, в двадцатом столетии было больше морали, чем в предшествовавшие времена. «До настоящего времени злодей увековечивал зло и смеялся, - говорит Эко. - Сегодня он увековечивает зло и стыдится этого, и это - некоторый прогресс». Например, „тот факт, что педофилы публично осуждаемы, связан с более зрелым пониманием достоинства детей, чем во времена Сократа, который был педофилом и не трудился это скрывать“. И тут возникает следующий вопрос: становимся ли мы более культурными или менее культурными, более моральными или менее моральными? Было ли двадцатое столетие самым варварским, по утверждению некоторых наблюдателей, или же оно отмечено смягчением и ослаблением кровожадности и насилия?

3

Оптимистический взгляд Эко оказывается в меньшинстве. Нам более близко темное, апокалиптическое прочтение наследия двадцатого столетия. В течение последних 80-ти лет мир был свидетелем беспрецедентного геноцида, прогрессирующих

методов психологической обработки и притеснения и, на разных уровнях, почти повсеместного тревожного упадка культуры. Сходное беспокойство было высказано и у нас, в Норвегии. Бернд Хагтвет⁷, главная Кассандра норвежских академических кругов, объявил в 1997 году, что „норвежское общество находится на пути к полному одичанию“. Хагтвет ссылается на рост насилия и жадности, недостаток уважения к культурным меньшинствам, бессмысленные бегство и дефективность потребления.

Хотя очень многое говорит в поддержку диагноза Хагтвета, я полагаю, что причина этих антикультурных тенденций, не будучи правильно идентифицированной критиками культуры, кроется в другом. Причина варварства не в опошлении культуры, но в отказе делать различия.

Для многих постмодернистский сценарий с его стертыми жанрами, уничтожением различий между высокой и массовой культурой, понятием текучести границ и культом третьего пути освобождает и депроvincialизирует. За этим стоит давняя и соблазнительная традиция, основанная на любви к парадоксу и иронии, привлекательности загадки, тайны и игры. Но это имеет и свою теневую сторону. Мы вступаем в мир, где премьер-министров и президентов хвалят за то, что они продвинули свои страны вправо и влево одновременно. Все больше и больше кажется, что нет никакого различия между глупостью и мудростью: компетентность, правда и красота, как контактные линзы, находятся в глазах у наблюдателя.

Нет больше никакой четкой разделительной линии в социальной и политической жизни, между войной и миром, суверенитетом и рабством, вторжением и освобождением, палачом и его жертвой. Как часто в последние годы мы сталкиваемся с жалобами, высказываемыми в газетах, что преступник пользуется большим вниманием и о нем беспокоятся больше, чем о его жертве! Зло, как показал уже милтоновский Сатана, намного более эффективно и привлекательно, чем совершенство или достоинство. Именно у Ницше, безумного патрона постмодерна, получила свое красноречивое воплощение идея о том, что наиболее совершенные человеческие существа в то же время и наиболее совершенные бестии (пришедшие от варваров). В ницшеанском космосе нет больше различия между преступлением и героизмом, законом и судебным произволом, разумом и безумием.

Проблема в том, как утверждал Лешек Колаковский⁸, что культура как таковая также зависит от этих различий. Как только они устранены и напряженность между сакральным и профанным исчезает, вместе с ними испаряется и смысл культуры в целом. Сегодня много говорится о культуре применения наркотиков, культуре потреб-

⁷ Bernt Hagtvet – норвежский политолог и исследователь тоталитаризма (*прим. ред.*).

⁸ Leszek Kołakowski – самый известный из ныне живущих польских философов (*прим. ред.*).

ления, культуре насилия, даже если эти понятия взаимно друг друга исключают. При всем нашем деконструктивистском рвении мы до сих пор еще критически не пересмотрели такое определение, как „культурная революция Мао“. Мы по-прежнему используем его для обозначения событий, приведших к уничтожению примерно 20 миллионов человек, разрушению библиотек и сжиганию книг, запрету традиционных песен и религиозных фестивалей, надругательству над отеческими могилами и триумфу этики, которая поощряет детей доносить на родителей в полицию. Мы все еще называем это „культурной“ а не „варварской“ революцией.

Нелепо и то, что этот семантический конфуз, рекламируемый человекообразными обезьянами постмодерна, во многих отношениях предшествует восточноевропейскому эксперименту. Сущность советского тоталитаризма была как раз в отмене различий между правдой и ложью, историей и беллетристикой, глупостью и компетентностью, красотой и уродством. Более того, Homo Sovieticus - это просто мечта конструктивиста: человек возникает из ничего с полностью сфабрикованной историей и родословной.

Весьма недооцененным аспектом восточноевропейской революции является то, что вопреки *реальному постмодернизму* она произошла во имя восстановления различий и возвращения к понятию правды. Это был вид революции, которую, так сказать, Ибсен бы понял, но которая показалась бы обманом Бодриару или Дерриде.

Итак, проблема культуры. Частично проблема возникает из-за слишком широкого определения понятия, которое мы унаследовали от антропологии и которое включает в себя все, что общество делает и думает: знание, веру, искусство, законы, обычаи, привычки и т.д. Такое расширительное определение культуры, возможно, нанесло смертельный удар по псевдонаучным понятиям расизма, но оно же и лишило понятие культуры какого-либо определенного значения. Сегодня, как я полагаю, все, включая и варварство, есть культура. Это высвобождение понятия из границ не только приводит к хаосу, но и означает путь назад, к тоталитарной системе. Для восстановления иерархичности понятия культуры, принимаемого без вопросов, нам, возможно, нужно будет по-новому пересмотреть это понятие, чтобы оно вновь стало пригодным для человека.

Дилеммы, на которые я указала выше, были кратко суммированы Георгом Штайнером⁹, утверждавшим, что „ужасный факт состоит все же в том, что у нас очень мало достоверных свидетельств, что гуманитарные исследования способствуют обогащению и стабилизации морального восприятия, для того чтобы сделать его более человеческим... Напротив: когда в Европу двадцатого столетия пришло варварство, факультеты искусств лишь нескольких университетов оказали ему слабое моральное сопротивление... Знание Гете и восхищение поэзией Рильке не послужило преградой для преподавателей и институционализировало садизм. Литературные ценности и предельная отвратительная жестокость смогли сосуществовать в одних и тех же людях“.

На поверхности вещей Штайнер прав. Достаточно лишь обратиться к нацистской Германии или сегодняшней Сербии, чтобы увидеть, что университетское образование – и даже сочинение музыки или поэзии - не является преградой для склонности к геноциду. Но в другом отношении, я думаю, Штайнер глубоко ошибается. Если бы он изучил подробно компоненты немецкого образования (*Bildung*) в Веймарской республике (такие, как учебники по истории и географии), популярную литературу, мировоззрение университетских профессоров и молодежных организаций, он увидел бы, что они уже несли в себе все смертоносные лейтмотивы, которые поднял на щит Гитлер: веру в немецкое превосходство, военный миф Пруссии, утверждение воли сверхчеловека, жажду власти фюрера и презрение к низшим расам. По замечанию Виктора Франкла¹⁰, нацистский террор был подготовлен в лекционных аудиториях немецкой академии. Точно так же, Бранимир Ануцлович¹¹, автор недавно вышедшей книги *«Небесная Сербия»* показал, что сербские этнические чистки были подготовлены как рассказами, преобладающими в школьной учебной программе и прославляющими акты героической жестокости, так и культурой, в значительной степени санкционирующей презрение к женщинам. Ясно, что в обоих случаях так называемая гуманитарная культура, то есть приятие Гете или Обрадовича, замутнено историями и образами, провозглашающими культ насилия.

Есть множество компонентов, характерных для таких текстов. Прежде всего, они полны презрения к человеческому достоинству и человеческой жизни, и в то же время, разумеется, восхваляют героического, сверхчеловеческого протагониста. Часто они подменяют понятие достоинства понятием чести. Совесть, вместо того чтобы

⁹ George Steiner – известный американский писатель, литературовед, культуролог, историк европейской культуры (*прим. ред.*).

¹⁰ Victor Emanuel Frankl – австрийский психиатр (*прим. ред.*).

¹¹ Branimir Anzulovic – независимый исследователь, живущий в Вашингтоне (*прим. ред.*).

рассматриваться в качестве судьи человеческих дел, представлена как результат истощения, ослабления - и женственности.

Для того чтобы культуре было возвращено ее значение, ее исследования должны помочь нам в гуманизации, а не дегуманизации процесса, мы должны придать им ряд этических и символических форм и ценностей, которые взаимно поддерживают и защищают человеческое достоинство, культурные и лингвистические барьеры. Я подчеркиваю - защиту достоинства, а не терпимость, потому что терпимость может так легко свести все на нет безразличием.

Есть один важный аспект в восстановлении культуры как противоположности варварству. Одним из самых замечательных и недооцененных аспектов восстания против тоталитаризма является то, что он, тоталитаризм, по своей природе часто неэстетичен. Отношение Томаса Манна к нацизму, например, носило печать отвращения, морального и эстетического. Он именовал фашизм „бескультурьем правящей орды“, где „грязь“, „головорезы“ и их „отталкивающий клоун“ приводили к „духовной кастрации“ Германии. Подобно этому, Солженицын утверждал, что отказ молодых людей поступать в школы НКВД был основан не на рациональных аргументах, но на моральном и эстетическом отвращении, на тошноте. Согласно польскому поэту, Збигневу Герберту¹², восстание против советизма

*совсем не требовало большого характера.
У нас была щепотка необходимой храбрости,
но по существу это было вопросом вкуса.
Да вкуса,
который приказал, чтобы мы вышли, заставил лицо скривиться в усмешке,
даже если за это драгоценнейшая часть тела, голова,
должна упасть.*

Тесная связь между правосудием, достоинством и красотой должна дать нам передышку. Часто, когда мы думаем об угнетаемых, где бы они ни находились, - в Индонезии, Тибете или Конго, - мы думаем о них как о нуждающихся исключительно материально – в одежде, лекарствах, пище. Цитированная же мною диссидентская интеллигенция указывает на то, что одним из самых больших лишений, выносимых людьми, страдающими под варварскими режимами, является утрата достоинства и красоты.

¹² Zbigniew Herbert. «Отчет для побежденного города и другие поэмы». New York, The Ecco Press. 1985.P. . 69-70. Польский лирик, драматург и эссеист (прим. ред.).

Сьюзен Хаак¹³, ведущий американский философ в области морали, объявила: „мусор есть мусор, но история мусора - наука“. Хаак имела в виду объем неоправдавшихся прогнозов и ошибочного анализа, выдвинутых господствующими левыми интеллектуалами, пытавшимися установить социалистическую утопию.

Сегодня кажется, что мы, начав с истории и теории мусора, пошли дальше, настаивая на осторожной антиутопической позиции и методологическом смирении. Там, где когда-то интеллигенция была „шлюхой причины,“ сегодня она - девственность корректности. Мы больше не смеем предсказывать, экстраполировать или даже представлять себе возможную форму наступающего будущего. Мы предпочитаем осторожное описание, безопасное резюме и то, что Сол Беллоу назвал „банальностью“. В пути наш критический гений перерос творческий гений. Вместо морального воображения мы развиваем социологическую бухгалтерию.

Совсем не обязательно, чтоб это было так. Есть традиция гуманитарных общественнонаучных исследований, которая соединяет антиутопический импульс с силой воображения, даже в очень точных предсказаниях. Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на недавней моде на академическом рынке, нам лучше еще раз обратиться к этой традиции и ее представителям. Возможно, имеет смысл перечитать маркиза де Кюстина, который уже 1843 году предложил одно из лучших и прозорливейших предсказаний грядущей советской России. Возможно, мы должны снова пересмотреть Эдмунда Берка¹⁴, чьи «Размышления о революции во Франции», изданные в 1790 году, предсказали неизбежное вырождение революции в тиранию, объяснили, почему предательство революции было неизбежно, и предложили менее радикальные способы улучшения общества. Мы могли бы, конечно, с пользой для себя перечитать Алексиса де Токвилля, который, как и де Кюстин, видел шире рамок своего аристократического класса и того периода времени, в котором он писал (1830-е годы), предпринявшего мастерский анализ американской демократии, столь же актуальный сегодня, как и в девятнадцатом столетии. Наконец, мы могли бы обратиться к более поздним исследованиям Роберта Конквиста, работа которого долгое время считалась чрезмерно саркастической и реакционной, но, как оказалось, была справедлива как в оценке размеров геноцида, так и в прогнозе неремедируемости советской системы.

¹³ Susan Haack – профессор философии и права, внесла вклад в философию языка, эпистемологию и метафизику (*прим. ред.*).

¹⁴ Edmund Burke – писатель, философ и политик, «отец» консерватизма (*прим. ред.*).

В контексте сказанного отмечу, что все эти мыслители сопротивлялись причудам и модам своего времени и настаивали на важности культурных и моральных аспектов общества в такой же степени, как экономики или политики.

В заключение работы Исторического Конгресса в Осло в ходе пленарных обсуждений участникам было предложено предсказать основные тенденции двадцать первого столетия. Были предложены различные заголовки: „Век глобализации“, „Эпоха интернета“ и даже „Новое американское столетие“. Как мне представляется, ни одно из предвидений не было столь же удачным, как высказанное Дэниелом Беллом¹⁵, который уже 30 лет назад предсказал, что двадцать первое столетие будет „Веком памяти“, когда культура возвратит себе свое основное значение. Его прогноз в значительной степени оправдывается. В конце двадцатого столетия мы видели великое высвобождение памяти повсюду, возрождение традиционной промышленности через возвращение к культурным корням и местным традициям, возрождение национального и религиозного чувства, увеличение количества исследований с такими названиями, как Пейзаж и память, Память и Холокост, История и память, Использование прошлого и так далее.

Сделав полный круг, мы вновь возвращаемся к парку Юрского периода, похоже, что мы живем в огромном музее, окруженном ожившим прошлым. Должны ли мы думать, что наших модных понятий гибридности, мультикультуральности и социальной критики достаточно, чтобы держать животных в страхе? Или прав Фелипе Фернандес-Арместо¹⁶, когда он пишет, что „Коммунизм и фашизм были отброшены, как вымершие динозавры, но они вернуться, цепляясь друг за друга на улицах, как ожившие клоны из юрского Парка. Галактические хранители музея определяют Вторую Мировую войну как только первый раунд в длинном ряду столкновений между конкурирующими «окончательными решениями».

Мы вновь оказываемся в затруднительном положении из-за безмерных appetites к власти, богатству и любви. Балканский анекдот приводит к историческому *deja vu*: балканский крестьянин едет на осле. Осел собирается растоптать лягушку. Это, конечно же, волшебная лягушка, которая обещает крестьянину выполнять три его желания, если он сохранит ей жизнь. „Я хочу власти, богатства и красавицу жену“, - говорит крестьянин. „Будет исполнено“, - отвечает лягушка. И разумеется, крестьянин пробуждается в прекрасном дворце подле восхитительной принцессы. «Мы должна поспешить, принц Фердинанд», - говорит принцесса. – «Через двадцать минут мы отправляемся в Сараево». И тут мы возвращаемся, назад, в исходное положение, *da capo al fine*.

¹⁵ Daniel Bell – американский социолог и журналист (*прим. ред.*).

¹⁶ Felipe Fernández –Armesto – британский историк, автор популярных книг по истории (*прим. ред.*).

Я исхожу из предположения, что специфическая функция гуманитарных и общественных наук состоит в том, чтобы воспрепятствовать возвращению этих ужасных фантомов. И, в отличие от Штайнера, я думаю, что есть способы подавить худшее в человеке. Один способ держать животное в себе в страхе – это то, что Умберто Эко назвал „культурной разнородностью“: быть открытым другим культурам, чтобы приправить, оплодотворить, обогатить собственную традицию новыми идеями и восприятием. Это тот случай, когда самые большие достижения культуры, от расцвета исламской культуры в одиннадцатом и двенадцатом веках, затем итальянский Ренессанс и захватывающая дух американская интеллектуальная экспансия в прошлые два столетия начинались как местные культуры и завоевали широкое признание. Другой путь, о котором я упоминала, - *via negativa*¹⁷, требующий, чтобы мы снова мудро различали правду и ложь, уродство и красоту, историю и беллетристику, культуру и варварство. Мы использовали сложность вещей как оправдание, чтобы не предпринимать усилий воображения. В результате мы оказались в ситуации главного героя одной из великих поэм двадцатого столетия. Я ссылаюсь на г-на Когито Збигнева Герберта, который оказывается перед чудовищем, но ему трудно иметь с ним дело из-за тумана путаницы, окружающего животное:

К счастью Святой Георгий
Со своей рыцарской позиции
Мог точно оценить
силу и движения дракона

.....

г-н Когито
в худшем положении
Он сидит в глубокой
Седловине долины
Покрытой густым туманом

Через туман
Видно только
мерцание небытия

...

Чудовище г-на Когито
Не имеет размеров

¹⁷ Через негатив (прим. перев.)

трудно описать
правила спасения
Это похоже на огромную депрессию,
распространенную на всю страну

Его нельзя пронзить
пером
Или аргументом
Или копьем

...разумные люди говорят
что мы можем жить вместе
с монстром
мы только должны избегать
внезапного движения
внезапной речи
если есть угроза
принять форму скалы или листа
слушаться мудрой Природы
советующей мимикрию.

г-н Когито, однако
не хочет придуманной жизни

Он хотел бы сразиться
С монстром
На суше...

Увы, сегодня поиск суши в академии не моден, не популярен и не выгоден. Нам намного удобней изучать – и объяснять - монстра в тумане.

(Перевод с английского Людмилы Сигал)